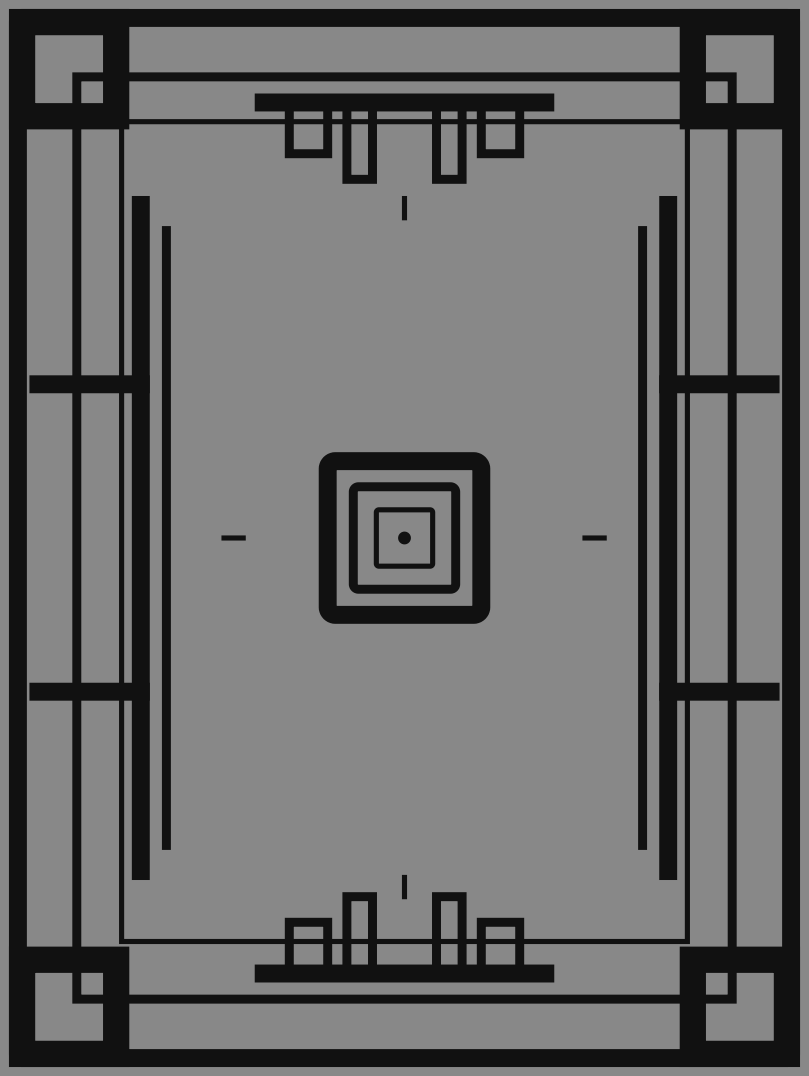


Мои университеты
Максим Горький

Горький Максим. Мои университеты

Горький Максим
Мои университеты

А.М.Горький

Мои университеты

Итак - я еду учиться в казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю "исключительными способностями к науке".

- Вы созданы природой для служения науке, - говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам "кое-какие" экзамены - он так и говорил: "кое-какие", в университете мне дадут казённую стипендию, и лет через пять я буду "учёным". Всё - очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал

добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

- Ты - не сердись на людей, ты сердишься всё, строг и заносчив стал! Это - от деда у тебя, а - что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты - одно помни: не бог людей судит, это - чорту лестно! Прощай, ну...

И, отирая с бурых, дряблых щёк скупые слёзы, она сказала:

- Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я - помру...

За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой - концом старенькой шали - отирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартире одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища,

на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами - обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы - мать и два сына - жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровых парней, не считая себя самоё?

Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадёжное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает - не вывезу, - а всё-таки везёт!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

- Вы зачем приехали?

- Учиться, в университет.

Её брови поползли вверх вместе с жёлтой

кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

- О, чорт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

- Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

- Вы думаете - этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

- Ах, Николай, Николай...

А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.

- Мама, хорошо бы пельмени сделать!

- Да, хорошо, - согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо - плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько

сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:

- Не в духе...

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется - швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фукс, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье - Дюмурье, или - наоборот? Славный юноша искренно желал "сделать меня человеком", он уверенно обещал мне это, но - у него не было времени и всех остальных условии для того, чтоб серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А

мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду - отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет - фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зерна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать не мало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, - я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно

развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни - тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать - двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых инстинктов, - мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество "бульварных" романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

- Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь - всё её достояние, а тебе

- только хомут. Честен бык, так он - сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился "Граф Монте-Кристо".

- В этой книге есть и цель и сердце, - говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

- Баба, баба! - выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. - Ради бабы я - на всё пойду. Для неё, как для чорта, - нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и - между прочими - ему принадлежит широко распространённая

песня:

Не красива я, бедна,

Плохо я одета,

Никто замуж не берёт

Девушку за это...

Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской "Часовых дел мастер", но занимался сбытом краденого.

- Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! - говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. - Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.

- Что значит - духовный?

- А - в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

"Мутноокой ночью сижу я - как сыч в дупле

- в номерах, в нищем городе Свияжске, а - осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах - обманная чистота души. "Милый, - говорит честным голосом, - не виновата я против тебя". Знаю - врёт, а верю - правда! Умом - твёрдо знаю, сердцем - не верю, никак!"

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова - яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, - этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

- Этот царь в своём деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех "злодеев", которые в конце романа неожиданно для читателя - становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще - о слож-

ности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда - трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под тёмным небом с тусклыми звёздами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в чёрную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы - это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колёс пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьёт молот по железу, заунывно тянется песня, тихонько тлеет чья-то душа, - от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И ещё грустнее слушать тихо скользящие речи людей, - люди задумались о жизни и говорят каждый о своём, почти не слушая друг друга. Сидя или лёжа под кустами, они курят папиросы, изредка - не жадно - пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

- А вот со мной был случай, - говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

- Бывает и так, - всё бывает...

"Было", "бывает", "бывало" - слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, - всё уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но всё-таки нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться - тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против "священного института собственности". Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьёзных книг, они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем всё, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них - Гурий Плетнёв. Смуглый, синеволосый, как

японец, с лицом в мелких чёрных точках, точно натёртым порохом, неугасимо весёлый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьём музыки, любя её, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и трудной болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, - всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье - он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе "Марусовке", вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был боль-

шой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это - всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей - чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьём; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары он, открывая дверь, хрипел в коридор:

- Хлеба!

В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого созна-

нием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

- А я говорю - тюрьма! Геометрия - клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

- К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, - математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

- Эвклид - дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет - исходя от математики доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, - нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться "слишком рано" и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места - по возрасту.

Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я - ночами, он - днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, - мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за "квартиру" ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

- Ах, Гурочка, - вздыхая, говорила она, - артист вы! И будь вы чуточку покрасивше - устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!

Один из таких "юношев" жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, - ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые,

зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и нему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь - кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо её казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обречённо, тоскливо смотрят вперёд, но - кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее её, как бы растягивая её тело и до боли сжимая лицо.

- Смотри, - сказал Плетнёв, - точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от неё, а она преследовала его, точно безжалостный кредитор или шпион.

- Сконфуженный человек я, - каялся он, выпивши. - И - зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой - не пустят меня на сцену, не пустят!

- Прекрати эту канитель! - советовал Плетнёв.

- Да. Но жалко мне её! Не выношу, а - жалко! Если бы вы знали, как она - эх...

Мы - знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

- Христа ради... голубчик, ну - Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной "требухи", мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам "Марусовки", присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими

и похож на муравьиную кучу. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орали похмелевшие проститутки, и - возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

"Зачем всё это?"

Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, - за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

- Жив быть не хочу, а - разорю их вдребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, - после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу : "Что, черти? То-то!"

- Это - цель твоей жизни, Конь? - спрашивали его.

- Весь я, всей душой нацелился на это и больше

ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свёртков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек - всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые тёмнорыжие пятна, выпив, он завывал:

- Милые вы мои птицы! Люблю вас - честный вы народ! А я - злой подлец и кр-рокодил, - желаю погубить родственников и - погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щёк ладонью и размазывал по коленям, - шаровары его всегда были в масляных пятнах.

- Как вы живёте? - кричал он. - Голод, холод, одёжа плохая, - разве это - закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живёте...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

- Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

- Да это - не вам! Это - студентам.

Но студенты денег не брали.

- К чорту деньги! - сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принёс Плетнёву пачку десятирублёвок, смятых в твёрдый ком, и сказал, бросив их на стол:

- Вот - надо? Мне - не надо...

Лёг на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнёв попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно - они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орёт всех громче. Я спрашиваю его:

- Зачем вы живёте здесь, а не в гостинице?

- Милый - для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

- Верно, Конь! И я - тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнёва:

- Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поёт:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

- Хорошо, чорт! - ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнёв, обладая мудростью, имя которой - веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше - любили его, похуже - боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор "Марусовки" - "проходной", поднимаясь

в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной, на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это - старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него - умное, улыбка - любезная, глаза - хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шёл он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимою в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их - а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и ещё кого-то - за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов, днём, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в "Марусовке" был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбуждённо растрепал свои чёр-

ные волосы и сказал мне:

- Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

- Смотри - осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в тёмной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами, он лудил кастрюлю, но - был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

- Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

- У нас - есть, а для тебя - нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, - он изумлённо и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

- Ступай, ступай...

Ещё раз подмигнув ему, я вышел за дверь, оста-

новился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

- Вы - Тихон?

- Ну, да!

- Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

- Какого это Петра?

- Длинный, похож на дьякона.

- Ну?

- Больше ничего.

- А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? - спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было моё первое участие в делах "конспиративных".

Гурий Плетнёв был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

- Тебе, брат, рано! Ты - поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьёзного. Евреинов повёл меня за город, на Арское поле, преду-

преждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

- Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: "Я приезжий..."

Таинственное - всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек, вот и всё. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены чёрными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нём было что-то преждевременно ощипанное, - как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расста-

лись, - он ушёл первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили ещё трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Джон Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского, - впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, - как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для "равновесия тела и души". С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта "чужого дяди". С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают

мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал придти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придёт, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул её наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искажённым русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, - мне

думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце моё; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождём. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

- Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в чёрную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

- Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом начинай!

И тяжёлые, ленивые, мокрые люди начали "показывать работу". Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, - с гиком, рёвом, с прибаутками. Вокруг меня с лёгкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжёлые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей

метались чёрные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырёхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с весёлым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддёвке, мокрый, скользкий, - должно быть, хозяин груза или доверенный его, - вдруг заорал возбуждённо:

- Молодчики - ведёрко ставлю! Разбойнички - два идёт! Делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули:

- Три ведра!

- Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы ещё усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, - месяцА, годА, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною,

душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут ещё ветер разодрал тяжёлую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца - его встретили дружным рёвом весёлые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлечённых ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъярённой силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребёнок в море, а дождь превратился в ливень.

- Шабаш! - крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

- Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождём и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошёл вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

- Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

- Дурак. И - хуже того - идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, - за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночною порой,

Вышла прогуляться в садик барыня - эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,

Видит - барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым, по отча-

янному цинизму, вероятно, нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, - ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы; дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор; за этой комнатой - продолжая ее - помещалась тесная кухня; за кухней в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, - таковы были "Исторические письма" Лаврова, "Что делать?" Чернышевского, некоторые статьи Писарева, "Царь-голод", "Хитрая механика", - все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в

комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о "народнике"; в моем представлении народник - революционер, а революционер не должен веровать в бога, богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

- Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал - переодетый студент.

- Зачем же студенту переодеваться? - спросил я.

- Ну, да, - тихо отозвался старик, - ведь как ни переоденься - бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услыхал возглас:

- Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое; ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном, пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела,

как их изображают дешевые олеографии.

- Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? - говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате.

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели - у нее отнялись руки и ноги.

- Это - нервная болезнь такая, - сказала она улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было объяснено как-то иначе; нервная болезнь - это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались

к стенам, а в углу, пред иконами слишком ярко горит огонек лампады и по белой скатерти большого, обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

- Мне много говорили о вас, - вот я и захотела посмотреть какой вы, слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог не умел - говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

- Ты зачем вылезла, Марья?

- Это мой младший брат, - Алексей, - сказала девушка. - А я - учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы - застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать - какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая, стройная девица

с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

- Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаясь понять - как и чем живут в ней? Жили - странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

- Не трогайте меня!

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастия, - что было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей - ленивый, грубый парень. Третий брат - Иван, учился в Учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам, - это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек,

похожий на старого чиновника. Больная Мария жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя, - когда она смотрела зелеными глазами на мужчин - ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты Университета, Духовной академии, Ветеринарного института, - шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые сту-

денты напоминали мне стариков начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но - не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они смотрели на меня точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

- Самородок! - рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне почему-то не нравилось, когда меня именовали "самородком" и "сыном народа", - я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами "Афоризмы и максимы", я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента Духовной академии дать

мне эту книгу.

- Здравствуйте! - иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, - курчавый, толстогубый, зубастый. - Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую, - не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще - со мною обращались довольно строго: когда я прочитал "Азбуку социальных наук", мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу, - а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о "праве критики".

- Чтоб иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину, - во что верите вы? - спросил он меня.

Он читал книги даже на улице, - идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

- Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения, - гармонически, гар-гар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани, я снова встретил его в Харькове; он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей, - погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами

- Без синтеза - невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Немало видел я таких великомучеников разума ради, - память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собирались в квартире Деренкова; среди них был даже японец, студент Духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек,

с густою окладистой бородищей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, глухо застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла меня, все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне, я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали "Хохол" и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно

заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел - плотников, грузчиков, каменщиков; знал - Якова, Осипа, Григория; а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал,

что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: "счастье народа прежде всего". Он вертелся среди них, точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

- Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся. - Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

- Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей,

он оставлял меня ночевать; мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шопотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне:

- Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь.

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, - она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушопотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но - наступила осень, жизнь без постоянной

работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму "место", и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах: "Хозяин", "Коновалов", "Двадцать шесть и одна". Тяжелое время! Однако - поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее - морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла "стена забвения". Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные же дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя как

опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, - я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что "работаю в народе", "просвещаю" его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках, да в холодных объятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его - долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.

Но - странно! - за всем этим я слышал - мне чудилось - печаль и стыд. Я видел, что в "домах утешения", где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато, - это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком

развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в "дома утешения", заявив откровенно:

- Ты, брат, с нами не ходи.

- Почему?

- Так, уж! Не хорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

- Экой, ты! Сказано тебе - не ходи. Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

- Вроде, как при попе, али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

- Брезгуешь?

Сорокалетняя "девушка" пышная и красивая полька Тереза Борута "экономка", глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

- Оставимте ж его, подруги, - у него обязательно невеста есть - да? Такой силач обязательно неве-

стой держится, больше ничем.

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

- Самый же непонятный народ - это обязательно студенты Академии, да! рассказывала она моим товарищам. - Они такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками - ногами на тарелки и толкают ее в зад - далеко ли уедет по полу? Так - одну, так и другую. Вот. Зачем это?

- Ты врешь! - сказал я.

- Ой, нет! - воскликнула Тереза не обижаясь, спокойно, и в спокойствии этом было что-то подавляющее.

- Ты выдумала это.

- Как же такое можно выдумать девушке? Разве я - сумасшедшая? спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять - зачем это?

Слушатели с отвращением отплевывались,

дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям уже излюбленным мною, - говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

- Так тО студенты с Воскресной улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, - сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы "экономки" и злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на "чистую публику", вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

- Значит, образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, грязь города; вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни "образованных людей", зарождается насмешливое и враждебное

отношение к непонятному, - и видел, что "дома утешения" являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, "девушки для радости", как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники, или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел - и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти, где-то спрятаться.

Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, - мне возражали:

- А, вот, девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак, - я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни - не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная

безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И - как нарочно - именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, - в такую ночь, на Масленой неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг - упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я - по-русски, он - на французском языке:

- О, дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги, - он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

- Моя шапка, чорт вас возьми! Отдайте шапку! Я - замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая

ею на меня, ругался на двух языках, гнал меня:

- Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидал его - он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

- Лена, я погибаю... о, Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

- Какая это улица? - закричал он со слезами в голосе. - Я не знаю, куда итти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

- На Булаке, - бормотал он, вздрагивая. - На Булаке... там - бани, дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне итти; я слышал, как стучали его зубы:

- Си тю савэ, - бормотал он, толкая меня.

- Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно, - с гордостью, как показалось мне:

- Си тю савэ у же те мен...*

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

- Си тю савэ у... Но я замерзаю, о, боже...

----------* Если бы ты знал, куда я тебя веду... (Франц.)

На Балаке я с трудом добился у него - в каком доме он бивет; наконец, мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

- Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженой свечей в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

- Да? - спросила она звучно и молодо.

- Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол, там, на мольберте стояла картина, река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

- У вас нет водки? - громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко накло-

нив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною, над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

"Несравненной Джильде".

- Чорт побери - тише! - застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

- Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

- Но, ведь, он уехал в Киев...

- Да, в Киев, - повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, не выразительно.

- Он скоро приедет...

- Да?

- О, да! Скоро.

- Да? - повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колено у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

- Я спокойна, - по-русски ответила она.

- Я - заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал замерзну. Мы немного пили, - торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колене. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

- Мы завтра едем в Киев, - сказала женщина, не то - спрашивая, не то утверждая.

- Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

- Он не приедет сегодня - Миша?

- О, нет! Такая метель... Идем, ляг...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя

мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

- Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

- Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову на-бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

- Это ваша жена? - тихонько спросил я.

- Жена. Все. Вся жизнь! - раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

- Чаю выпить, - а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

- Без тебя я бы замерз, - спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

- Что же было бы с нею тогда? О, господи...

Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

- Ты видишь, - она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина - помещица, он - учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, - пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

- Ты - кто? - еще раз спросил он. - Да, - крендельщик, рабочий. Странно, не похоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

- Вот как? - тихо воскликнул он. - Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

- Ты знаешь сказку о "Гадком утенке"? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными - до визга - повышениями сиповатого голоса.

- Эта сказка - соблазняет! В твои годы я тоже подумал - не лебедь ли я? И - вот... Должен был итти в академию - пошел в университет. Отец священник - отказался от меня. Изучал - в Париже - историю несчастий человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

- Прогресс - это выдумано для самоутешения! Жизнь - неразумна, лишена смысла. Без рабства - нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству - человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины, это - глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб - это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку - тем более он счастлив, чем больше желаний - тем меньше свободы.

Быть может - не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью.

- Пойми, - каждому нужно немного: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, - он вдруг стал похож на вора Башкина.

- Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, - шептал он имена незнакомые мне и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

- Любовь и голод правят миром, - слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры "Царь-голод", - это придавало им в моих мыслях - особенно веское значение.

- Люди ищут забвения, утешения, а не - знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром, - маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в

серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека; чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось итти в мастерскую видеть людей, - и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда, - их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, "толстовцы" и высоко-культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, - неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только, вот, года два тому назад - спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему - я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа "по душе" и этот человек, невесело усмехаясь, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой

обладают, кажется, только русские люди.

- А. М., - милый, - ничего не надо, никуда все это: академии, науки, аэропланы, - лишнее! Надобно только угол тихий и - бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно - душой и телом - отвечала, - вот! Вы - по интеллигентски рассуждаете, вы - уж не наш, а - отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-еврейски думаете: человек - для субботы?

- Евреи не думают так...

- Чорт их знает, как они думают, - народишко темный, - ответил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним.

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

- Вы с нами, а - не наш, вот что я говорю, - продолжал он вдумчиво, тихо. - Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и все - со зла: видят они, что места в жизни нет для них.

Рабочий восстает для революции, - ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, - думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок...

- Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному - немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут, там - и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить, - как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это - от интеллигенции. Потому я и говорю: интеллигенция - вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

- Самый свободный народ по духу, - усмехнулся мой собеседник. Только, - вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да - сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был "толстовцем", не

обнаруживал склонности к анархизму, - я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда, максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия.*

И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена:

Я консерватор? О нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь,
Не люблю перемещать фигуры,
Но - хотел бы смешать всю игру.
Помню только одну революцию,
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить
Разумею, конечно, Всемирный потоп.
Но - и тогда Дьявола надули!
Вы знаете - Ной стал диктатором.
О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь вам,
Вы хлопочете о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег.

----------* От редакции. Редакция ни в какой

мере не разделяет этих пессимистических раздумий А. М. Неверные вообще они опровергаются в особенности художественным творчеством тов. Горького, в частности его автобиографическими рассказами, где так много странствующих, путешествующих, неугомонных, беспокойных протестантов, как и в других вещах А. М.

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и "делишек", нуждавшихся в материальной помощи, - все возрастало.

- Надо придумать что-нибудь, - озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и, хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

- Почему вы делаете это?

Он, видимо не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос - для чего? говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

- А - хотят, ищут люди знания?

- Ну, как же! Конечно! Ведь вы - хотите?

Да, я - хотел. Но - я помнил слова учителя ис-

тории:

"Люди ищут забвения, утешения, а не - знания".

Для таких острых идей - вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду; идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше "выдумки" в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой "выдумки". Кратко говоря - я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню, - было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать "подручным" пекаря и, как "свой человек", следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище, - забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один, - у него седые виски, острая бородка, сухое, копченое

лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький - точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал, - в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

- Это - куда пойдет?

- А это пойдет одной девченочке, - дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: - Хаарошая девченка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, - речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

- Он меня - учит! Первый раз видит и - готово! - учит. А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

- Будто видел я тебя где-то, - ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом поло-

жении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

- Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню, - под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл, - гляжу - угли и собачий череп. Вот оно, - нашел!.. Вдруг - трах! - окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово: - Караул, воры! Конечно - убежал, а то бы - избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно! - но Иван Лутонин не смеется, а только, улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его - не затейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг него - не любит говорить?*

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа

молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

----------* В конце 90-х годов я прочитал в одном археологическом журнале, что Лутонин-Коровяков нашел где-то в Чистопольском уезде клад: котелок арабских денег. (Прим. автора.)

- Косы ей драли мало, девице этой, - говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает:

- Ловлю, будто, я карасей в пруде, вдруг - полицейский: стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и - проснулся.

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, - он скоро почувствовал, что в булочной есть что-то необычайное: в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки - сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином, и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я - "подручный" - являюсь, как будто, управляющим булочной.

- Родственник ты хозяину? - спрашивает Лу-

тонин. - А, может, он тебя в зятья прочит? Нет. Смешно. А - зачем студенты шляются? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентишки-то, наверно, больше - едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

- Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно - о чем можно говорить с такой девицей. Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

- Пришла?

- Видишь.

- Спала?

- Ну, а как же?

- Что видела во сне?

- Не помню...

Тихо в городе. Впрочем - где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

- Пешков, вынимай сдобное, пора.

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

- Опусти подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

- Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный: с бабами не живу, только с девицами. Это у меня - тринадцатая. Никифорычу - крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

- И мне - так жить?

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать караваев, и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобными, и бегу в Духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками "на книжку" и "за наличный расчет", - стою и слушаю их споры о Толстом; - один из профессоров академии - Гусев - яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда - студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше - в "Сумасшедший дом", где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, - как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду,

почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие - улыбаясь, большинство - сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуто обыкновенны, в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем, - есть.

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его "владыкой всех владык, другом и советником бога", и долго образ его жил со мною, мешая мне

жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал, и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня "учил", говоря с ласковым удивлением:

- Ты - способный к работе, - через год, два - будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

- Ты бы не читал, а спал, - заботливо советовал он, но никогда не спрашивал, какие книги читаю я.

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или - если было холодно - говорил мне, сморщив переносье:

- Выдь на полчасика.

- Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но

старался возможно реже видеть ее - неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

- Силы у тебя - на троих, а ловкости нет. И, хоша ты длинный, а все-таки - бык...

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, - говорил я "своими словами". Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:

- Чорт вас знает, как говорите вы. Не словами, а - гирями!

Вообще - я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня - скуластое, калмыцкое, голос - не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какою я видел ее в первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

- Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

- А вам зачем знать это?

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

- Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

- Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и - вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор; там ле-

ниво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари - горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, не ярко освещенных, поют:

Сам Варламий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, - как лежит на коленях пекаря его девица - и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

И всю ночь, напролет,
Он и пьет, и поет,
И еще-о!.. кое-чем
Занимается...

Задорно выделяется из хора густое, басовое - о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот - подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает

письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, - меньше моего мизинца. Но - снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку - плечи у нее круглые, как пышки - берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, - он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шопотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него, робко улыбаясь, и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

- Иди в пекарню...

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюб-

ленная, а я - соображаю:

- Что же будет со мною дальше?

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастие.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это - хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

- В новой пекарне ты будешь старшим подручным, - обещает мне пекарь. Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он - не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но - не позволяет читать.

- Хорошо, что ты бросил книжки, - крысы бы съели их! - говорит пекарь. - А - неужто ты снов не видишь? Наверно - видишь, только - скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать - самое безвредное дело, тут опасаться нечего...

Он очень ласков со мною, кажется, - даже уважает меня. Или - боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

Умерла бабушка. Я узнал о смерти её через семь

недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме - без запятых - было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день "прикинулся антонов огонь". Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми - здоровые, молодые люди сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

"Схоронили её на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они её любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрёт".

Я - не плакал, только - помню - точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе тяжёлое желание, но рассказать было некому, так оно, невысказанное, и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А.П.Чехова про извозчика, который беседовал с

лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки и что я не догадался поделиться горем с крысами, - их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо постриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно на битого гуся перед рождеством.

- Читать любишь, слышал я? - спрашивал он. - Какие же книги, например? Скажем - жития святых али библию?

И библию читал я, и четьи-минеи, - это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка.

- М-да? Чтение - законно полезное! А - графа Толстого сочинений не случалось читывать?

Читал я и Толстого, но - оказалось - не те сочинения, которые интересовали полицейского.

- Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился, - их бы почитать!

"Некоторые", напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с по-

лицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

- Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал, что он хочет от меня, но - мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, - это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот - я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть - двуспальная кровать за ситцевым пологом, со множеством подушек в кумачовых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно, рядом со мною - его жена, пышногрудая бабёнка лет двадцати, румяноликая, с лукавыми и злыми глазами странного, сизого цвета; яркокрасные губы её капризно надуты, голосок сердито суховат.

- Известно мне, - говорит полицейский, - что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетея, девка распутная и подлая. И все бабы - подлые.

- Все? - спрашивает его жена.

- До одной! - решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруей. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет:

- Подлые и распутные от последней уличной... и даже до цариц! Савская царица к царю Соломону пустыней ездила за две тысячи вёрст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой...

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и, как-то незаметно для меня, переходит на другую тему:

- Например: есть тут студент первого курса Плетнёв.

Супруга его, вздохнув, вставила:

- Некрасивый, а - хорош!

- Кто?

- Господин Плетнёв.

- Во-первых - не господин, господином он будет, когда выучится, а покамест просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых - что значит хорош?

- Весёлый. Молодой.

- Во-первых - паяц в балагане тоже весёлый...

- Паяц - за деньги веселится.

- Цыц! Во-вторых - и кобель кутёнком бывает...

- Паяц - вроде обезьяны...

- Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

- Ну, слышала.

- То-то...

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

- Вот - познакомься-ко с Плетнёвым, - очень интересный!

Так как он видел меня с Плетнёвым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

- Мы знакомы.

- Да? Так...

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я - насторожился: мне было известно, что Плетнёв печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

- Незримая нить - понимаешь? - спрашивает он меня и смотрит в лицо моё округлёнными глазами, точно испугавшись чего-то. - Прими

государь-императора за паука...

- Ой, что ты! - воскликнула женщина.

- Тебе - молчать! Дура, - это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла! Убирай самовар...

Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжает внушительно:

- Незримая нить - как бы паутинка - исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочая, - проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью всё связано, всё оплетено, незримой крепостью её и держится на веки вечные государево царство. А - полячишки, жиды и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они за народ!

Грозным шопотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

- Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный и живёшь - один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели - один, понятно. Но когда много? А? Я против студентов не говорю - сегодня он студент,

а завтра - товарищ прокурора. Студенты - хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги царя - подзуживают их! Понимаешь? И ещё скажу...

Но он не успел сказать - дверь широко распахнулась, вошёл красноносый, маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

- Шашки двигать будем? - весело спросил он и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

- Тесть мой, жене отец, - с досадой, угрюмо сказал Никифорыч.

Через несколько минут я простился и ушёл, лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря:

- Облака-то какие красные - огонь!

В небе таяло одно маленькое, золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу всё-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, "незримая нить". Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка

позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать - о чём говорил со мной будочник?

- Ах, боже мой! - тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою. - Что, пекарь не выспрашивает вас ни о чём? Ведь его любовница - родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на неё исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово "любовница" - это не понравилось мне. И не понравилось её решение прогнать пекаря.

- Будьте очень осторожны, - говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд её глаз, казалось - он спрашивает меня о чём-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

- Почему вы всегда такой угрюмый?

- У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным; улыбаясь, она спросила:

- Вы очень любили её?

- Да. Больше вам ничего не нужно?

- Нет.

Я ушёл и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

"Вы - не то, чем хотите казаться".

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил:

- Что это ты пишешь? "Почему Гарибальди не прогнал короля?" Что такое Гарибальди? И - разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

- Скажи пожалуйста - королей гонять надобно ему! Смешно. Ты эти затеи - брось. Читатель! Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты оставь королей гонять, это тебе не голуби!

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы, - мне запретили говорить с пекарем на "опасные темы".

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, её читали и ссорились. Я попросил вете-

ринара Лаврова достать мне её, но он безнадежно сказал:

- Э, нет, батя, не ждите! Впрочем - кажется, её на-днях будут читать в одном месте, может быть, я сведу вас туда...

В полночь успеньева дня я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова, он идёт сажен на пятьдесят впереди. Поле - пустынно, а всё-таки я иду "с предосторожностями", - так советовал Лавров, насвистываю, напеваю, изображая "мастерового под хмельком". Надо мною лениво плывут чёрные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиною сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идём густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна, - окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

- Кто?

- От Якова.

- Влезайте.

В кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шопот. Вспыхивает спичка, освещая моё лицо, я вижу у стен на полу несколько тёмных фигур.

- Все?

- Да.

- Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставен.

Сердитый голос громко говорит: - Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме? - Тише! В углу зажгли маленькую лампу. Комната - пустая, без мебели, только - два ящика, на них положена доска, а на доске - как галки на заборе - сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном "попом". На полу у стен ещё трое и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру "Наши разногласия", её написал Георгий Плеханов, "бывший народоволец".

Во тьме на полу кто-то рычит:

- Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны - высшая поэзия. Чувствую

себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы, первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчётливо произнося слова.

- Ер-рунда, - снова рычит кто-то из угла.

Там в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлёме римского воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в тёмный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

- Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца, тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

- Ренегат!

- Медь звенящая!..

- Это - плевок в кровь, пролитую героями.

- После казни Генералова, Ульянова...

И снова с подоконника раздается голос юноши:

- Господа, - нельзя ли заменить ругательства серьёзными возражениями, по существу?

Я не люблю споров, не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбуждённой мысли, и меня всегда раздражает обнажённое самолюбие спорящих. Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня: - Вы Пешков, булочник? Я - Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно здесь делать нечего, шум этот - надолго, а пользы в нём мало. Идёмте? О Федосееве я уже слышал как об организаторе очень серьёзного кружка молодёжи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами. Идя со мною полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал: Слышал я об этой булочной вашей, - странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чём и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыба-

ясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся. Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои - всё хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло ещё более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в "институт благородных девиц". Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда весёлая толпа чистеньких, ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок, - смотрел я на них и старался угадать - которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И, вспоминая грязные "дома утешения", думал:

"Неужели из этих домов и сюда простирается "незримая нить"?"

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо: - Дам тебе десять копеек, если ты отнесёшь эту записку по адресу.

Её тёмные, ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щёки и уши у неё густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно, - сунул медь в карман своих брюк, но - не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая: - Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать... Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через пятнадцать я встретил её учительницей в одной крымской гимназии, она страдала туберкулёзом и говорила обо всём в мире с беспощадной злобой человека, оскорблённого жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечерком работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное, - булочная помещалась около городского театра, и после спектакля

публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шёл месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать, двадцать пудов - это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шёл разносить булки.

Так - изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять "разумное, доброе, вечное". Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась "незримая нить". У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова; особенно близок был мне старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

- Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей ты мой Максимыч, молодой ты мои шиш, новый челночок! - говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными, серыми глазами в тёмных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зелёные пятна окиси. Ткачи звали его

Немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной весёлостью.

- Люблю в цирк ходить, - говорил он, склоняя на левое плечо лысый, шишковатый череп. - Лошадей - скотов - как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением, - думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота - сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам - для души сахар нужно, а это будет ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас, - верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увёл его.

- Больно ударили вас? - спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождём осени.

- Ну, - так-ли бьют? - равнодушно сказал он. - Постой-ка, - почему это ты со мной на "вы" говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале

он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет "незримая нить", он задумчиво воскликнул:

- А ты - не глуп, нет! Ишь ты?.. - И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

- Мысли твои, Лексей ты мой Максимыч, шило моё милое, - правильные мысли, только никто тебе не поверит, невыгодно...

- Вы верите?

- Я - пёс бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жёны, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас - у Морозова на фабрике было дело! Кто впереди идёт, того по лбу бьют, а лоб - не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова, - чахоточный Яков, гитарист, знаток библии поразил его яростным отрицанием бога. Расплёвывая во все стороны кровавые шматки изгнивших лёгких, Яков крепко и страстно доказывал:

- Первое: создан я вовсе не "по образу и подобию божию", - я ничего не знаю, ничего не могу и, при-

том, не добрый человек, нет, не добрый! Второе: бог не знает, как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или может помочь, да - не хочет. Третье: бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а - проще - нет его! Это - выдумано, всё выдумано, вся жизнь выдумана, однако - меня не обманешь!

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съёжиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и чёрные, как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Тёмные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжёлый, сгибающий взгляд - он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

- Против бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого - нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, - жалко! Раскалился добела... Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошёлся с Яковом и весь

как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза.

- Та-ак, - ухмыляясь, говорил он, - бога, значит, в отставку? Хм! Насчёт царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело - в хозяевах. Я с каким хошь царём помирюсь, хошь с Иван Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только - дай ты мне управу на хозяина, - во-от! Дашь - золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя...

Прочитав "Царь-Голод", он сказал:

- Всё - обыкновенно правильно!

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

- Кто это тебе написал? Чётко пишет. Ты скажи ему - спасибо*.

----------* Спасибо, Алексей Николаевич Бах! (Прим. автора.)

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапошникова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

- Ловкая штучка умишко человечий, ой, ловкая!

Сам он читал с трудом, - мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим:

- Есть у немцев плотник необыкновенного ума, - его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идёт о Бебеле.

- Как вы это знаете?

- Знаю, - кратко отвечал он, почёсывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощён уничтожением бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

- Что ты, Яков, всё только против бога кричишь?

Он завыл ещё более озлобленно:

- А что ещё мешает мне, ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе жил пред ним. Терпел. Спорить - нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в библию - вижу: выдумано! Выдумано, Никита!

И, размахивая рукою, точно разрывая "незримую нить", он почти плакал:

- Вот - умираю через это раньше время!

Было у меня ещё несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семёнова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но - Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников - в Татарской, далеко за Кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко мог видеть их. А ко мне ходить - невозможно, негде было принять гостей, к тому же новый пекарь, отставной солдат, вёл знакомство с жандармами; задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные "синие мундиры" лазили к нам через забор - за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. И ещё: мне было рекомендовано не очень "высовываться в люди", дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Всё чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался:

- Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила "не порожней" и фыркала злой кошкой, глядя на всё и на всех зелёным, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал.

Иногда он жаловался мне:

- Несерьёзно всё. Все всё берут, - без толку. Купил себе полдюжины носков - сразу исчезли!

Это было смешно - о носках, - но я не смеялся, видя, как бьётся скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но - он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушилась, отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начинал пить и гулять с девицами, сестра вела себя, как чужая, и у неё, видимо, разыгрывался невесёлый роман с рыжим студентом, я часто замечал, что глаза её опухли от слёз, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощёкую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, ха-

рактер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня - не было. Люди, которые смотрели на меня как на "материал, подлежащий обработке", не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их, - они советовали мне:

- Бросьте это!

Гурия Плетнёва арестовали и отвезли в Петербург, в "Кресты". Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях, - как будто возвращаясь с парада, - он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

- Гурия Александровича арестовали сегодня ночью...

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

- Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слёзы.

Я знал, что Плетнёв ожидал ареста, он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошёлся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

- Что не приходишь ко мне?..

Вечером я пришёл к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас, жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

- Так-то вот, - заговорил будочник, почёсывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво. - Арестовали. Нашли у него кастрюлю, он в ней краску варил для листков против государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

- Давай штаны!

- Сейчас, - ответила она, не поднимая головы.

- Жалеет, плачет, - говорил старик, показав глазами на жену. - И мне жаль. Однако - что может сделать студент против государя?

Он стал одеваться, говоря:

- Я, на минуту, выйду... Ставь самовар, ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав, с великой злобой, сквозь оскаленные зубы:

- У, стерво старое!

Лицо у неё опухло от слёз, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклонясь над самоваром, зашипела:

- Обману я его, так обману - завоет! Волком завоет. Ты - не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врёт он, - никого ему на жаль. Рыбак. Он - всё знает про вас. Этим живёт. Это охота его - людей ловить...

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

- Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но её глаз смотрел на меня с такою злой, острой тоской, что я обнял её и стал гладить жестковатые волосы, растрёпанные и жирные.

- За кем он теперь следит?

- На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

- Не знаешь фамилию?..

Улыбаясь, она ответила:

- Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь

меня! Идёт... Гурочку-то он выследил...

И отскочила к печке.

Никифорыч принёс бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчёркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо моё здоровым глазом, а супруг её внушал мне:

- Незримая эта нить - в сердцах, в костях, ну-ко - вытрави, выдери её? Царь - народу - бог!

И неожиданно спросил:

- Ты вот начитан в книгах, евангелие читал? Ну, как, по-твоему, всё верно там?

- Не знаю.

- По-моему - приписано лишнее. И - не мало. Например - насчёт нищих: блаженны нищие, - чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще, насчёт бедных - много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден - значит - плох! А кто обеднел - он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это - лучше.

- Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчётливо и веско, видимо - очень продуманные мысли.

- Жалости много в евангелии, а жалость - вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных

расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым, - слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые - на шее у них сидят. Вот чем заняться надо - этим! Передумать надо многое. Надо понять - жизнь давно отвернулась от евангелия, у неё - свой ход. Вот, видишь - из чего Плетнёв пропал? Из-за жалости. Нищим подаём, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними, - они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.

А старый "ловец человеков" всё говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

- Идти пора тебе, - дважды напоминала ему жена, - он не отвечал ей, нанизывал слово за

словом на стержень своей мысли, и - вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

- Ты - парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству...

Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялуторовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

- Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчёлы в улье или осы в гнёздах. Государево царство...

- Гляди - девять часов, - сказала женщина.

- Чорт!

Никифорыч встал, застёгивая мундир.

- Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся...

Уходя из будки, я твёрдо сказал себе, что уже никогда больше не приду в "гости" к Никифорычу, - отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник

её полицейский.

Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновал меня.

В городе явился "толстовец", - первый, которого я встретил, - высокий, жилистый человек, смуглолицый, с чёрной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но, порою, резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском тёмных, влажных глаз, - что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодёжи и между нею - тоненький, изящный попик, магистр богословия, в чёрной шёлковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное красивое лицо, освещённое сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин евангелия; голос у него был глуховатый, фразы коротки, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

- Актёр, - шептали в углу рядом со мною.

- Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу - ка-

жется, Дрепера - о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх её, - это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

- Итак - со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодёжь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвёл всех горящим взглядом и строго добавил:

- Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

- Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему, он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шёл с ними против его врагов.

- Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:

- Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут. их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

- Истина - это любовь, - восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьянённым словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

- Выбросьте евангелие, забудьте о нём, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это - честнее!

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь - непрерывная борьба за счастье на земле, - милосердие и любовь должны только мешать

успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца - Клопский, узнал, где он живёт, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстёгнутую на тёмной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, - он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая - прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в лёгкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное "связать человека с духом мира" - с любовью, распылённой повсюду в жизни.

- Только этим можно связать человека! Не любя - невозможно понять жизнь. Те же, которые

говорят: закон жизни - борьба, это - слепые души, обречённые на гибель. Огонь непобедим огнём, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

- А ты - кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек - везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

- Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к её святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой "святой мудростью", но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал, как бы сквозь дрёму:

- Покорность любви... закон жизни...

Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

- Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя - приподнялась, и синеватые волосы

редких усов ощетинились.

Я ушёл с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принёс рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице, и ещё раз увидал Клопского. Он, должно быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли, - мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слёз, сидел в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел, раскачиваясь, и рычал:

- Милосер-рдия...

Клопский резко и сердито кричал:

- Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь, - всё едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввёл в комнату и сказал доценту:

- Вот - спроси его - чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

- Это - булочник! Я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

- На, бери всё!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

- Ступай? После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унёс в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и, в тот же день, - другой. Сёстры поделились между собою радостью, и она обратилась в злобу против влюблённого; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви немедля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия - страшный и сложный вопрос - возник предо мною рано, сначала - в форме неопределённого, но острого ощущения разлада в моей душе, затем - в чёткой форме определённо ясных слов:

"Какова роль любви?"

Всё, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о сострадании к людям, - об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору.

Всё, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развёртывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги, всё остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять: все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы - живут не так, как я и люди, излюбленные мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил, - странно одиноки, чужды и - лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе муравьёв, кропотливо строящих кучу жизни; эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И нередко я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, жёлтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь:

- Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от неё, чтоб она опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата

болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться, когда его задушит водянка.

- Скотов лечил - скотом и подох! - проводил труп ветеринара его квартирохозяин, портной Медников, тощенький, благочестивый человечек, знавший на память все акафисты божией матери. Он порол детей своих девочку семи лет и гимназиста одиннадцати - ремённой плёткой о трёх хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался:

- Мировой судья осудил меня за то, что я будто у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал, кроме как на вывесках да на картинах.

Один из его рабочих, унылый, кривоногий человек, по прозвищу Дунькин Муж, говорил о своём хозяине:

- Боюсь я кротких людей, которые благочестивые! Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползёт на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких...

В словах Дунькина Мужа, кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым, - была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя, как лишаи, каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытьё, - я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер, и дрожали огни фонарей, а казалось - дрожит тёмносерое небо, засевая землю мелким, как пыль, октябрьским дождём. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормотал, всхлипывал. Женщина утомлённо и глухо сказала:

- Такая твоя судьба...

"Вот, - подумал я, - и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пёстрых людей. Устал я от этого".

Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу, именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжко угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что было ещё хуже. Меня тянуло во все стороны - к женщинам и книгам, к рабочим и весёлому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил "ни в тех ни в сех", вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлёстывала меня невидимой плёткой.

Узнав, что Яков Шапошников лёг в больницу, я пошёл навестить его, но там криворотая, толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные, варёные уши, сухо сказала:

- Помер.

И, видя. что я не ухожу, а молча торчу пред нею, рассердилась, крикнула:

- Ну? Что ещё?

Я тоже рассердился и сказал:

- Вы - дура.

- Николай, - гони его!

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу

и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнёсся к этому спокойно, посидел минуту молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

- Эх ты, собака!

Я ушёл в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, несмотря на праздничный день, в саду было пустынно и вокруг сада - ни души, только ветер метался, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно-синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожал, всей силой души, бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной. В этом было что-то тяжёлое, очень обидное.

"А Николай идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок..."

Пошёл к Рубцову, он сидел в своей конуре у стола, пред маленькой лампой и чинил пиджак.

- Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо, желая

перекреститься, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом - заворчал:

- Между прочим - все помрём, такое у нас глупое обыкновение, - да, брат! Он вот помер, а тут медник был один, так его тоже - долой со счёта. В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свёл. Умный медник! Со студентами несколько путался. Ты слышал, бунтуются студенты, - верно? На-ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни чорта...

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

- То - здесь, то - инде вспыхнет огонёк, а чорт дунет, и - опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока ещё пароходы ходят.

Остановился и, почёсывая череп, спросил:

- А - куда поедешь? Везде бывал. Да. Везде ездил, а только себя изъездил.

Плюнув, он добавил:

- Ну - и жизнь, сволочь! Жил, жил, а - ничего не нажил, ни душе, ни телу...

Он замолчал, стоя в углу у двери и как будто прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошёл ко мне, присел на край стола:

- Я тебе скажу, Лексей ты мой Максимыч, - зря Яков большое сердце своё на бога истратил. Ни бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, - во-от! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану - горе, брат! Ушил? Спасибо... Пойдём в трактир, чай пить...

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи. он бормотал:

- Помяни моё слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут всё крушить - в пыль сокрушат пустяки свои! Не дотерпят...

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома, - ворота его защищали алафузовские рабочие.

- Каждый праздник здесь драка! - одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая, науськивая:

- Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И - эхма-а!

Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толчками плеча.

- Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойники,

Судовые мы ребята, рыболовники!

Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши неслось:

Мы закидываем сети по сухим берегам,

По купеческим домам, по амбарам, по клетям...

- Стой! Лежачего не бьют...

- Дедушка - держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и ещё человек пять, врагов или друзей, повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

Эх, мы поймали сорок щук,

Из которых шубы шьют!

- До чего же хорош народ на Волге! - с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь, сплёвывая, и шептал мне: - Ты - беги! Выбери минуту и беги! Зачем тебе в участок лезть?

Я и какой то длинный матрос, следом за мною, бросились в проулок, перескочили через забор, другой, и - с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения, смысл их был не понятен

мне, мотивы - не ясны. Я видел весёлую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если б мне предложили: "Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на Николаевской площади мы будем бить тебя палками!" - я, наверное, принял бы это условие.

Зайдя в крендельную Семёнова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету избивать студентов:

- Гирями будем бить! - говорили они с весёлой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушёл из подвала, как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в чёрную воду, и думал тремя словами, бесконечно повторяя их:

"Что мне делать?"

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыку я любил и стал заниматься ею с великим увлечением, но мой учитель, скрипач

театрального оркестра, во время урока, - когда я вышел из магазина, - открыл не запертый мною ящик кассы, и, возвратясь, я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное, бритое лицо и тихо сказал:

- Ну - бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слёзы, странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача; чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошёл к двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом:

- Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе "Случай из жизни Макара". Но это не удалось мне - рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишённым внутренней правды. К его достоинствам следует отнести - как мне кажется - именно то, что в нём совершенно отсутствует эта правда. Факты - прав-

дивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идёт не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа - в нём для меня есть нечто приятное, - как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил лёгкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной.

Однако - недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидал в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

- Вы свободны? - спросил он, не здороваясь.

- На двадцать минут.

- Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из "чортовой кожи", на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жёстких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжёлые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дёгтем.

- Нуте-с, - заговорил он спокойно и негромко,

- не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять вёрст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться - согласны?

- Да.

- В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите дощаник из Красновидова, - хозяин Василий Панков. Впрочем - я уже буду там и увижу вас. До свидания!

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжёлую, серебряную луковицу-часы и сказал:

- Кончили в шесть минут! Да - моё имя - Михайло Антонов, а фамилия Ромась. Так.

Он ушёл не оглядываясь, твёрдо ставя ноги, легко неся тяжёлое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет верховый ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь яркобелыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело

нагруженный бочками, мешками, ящиками, идёт под парусом, - на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дублёной овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него - спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрёпанный мужичонка в рваном армяке, подпоясанном верёвкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

- Сторонись... Куда лезешь...

Я сижу рядом с Ромасём под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

- Мужики меня не любят, особенно - богатые! Нелюбовь эту придётся и вам испытать на себе.

Кукушкин, положив багор поперёк бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

- Особо тебя, Антоныч, поп не любит...

- Это верно, - подтверждает Панков.

- Ты ему, псу рябому, кость в горле!

- Но есть и друзья у меня, - будут и у вас, - слышу я голос Хохла.

Холодно. Мартовское солнце ещё плохо греет.

На берегу качаются тёмные ветви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке - льдины, точно пасётся стадо овец. Я чувствую себя, как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует:

- Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

- Кто это тебя избил? - спрашивает Ромась, усмехаясь.

- Так, какие-то тёмных должностей люди, наверно - жулики, презрительно говорит Кукушкин. И - с гордостью: - Нет, меня, однова, антиллеристы били, это - действительно! Даже и понять нельзя - как я жив остался.

- За что били? - спрашивает Панков.

- Вчера? Али - антиллеристы?

- Ну - вчера?

- Да - разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что - сейчас и бодается! Должностью своей считают это - драку!

- Я думаю, - говорит Ромась, - за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно...

- Пожалуй, так! Человек я любопытного ха-

рактера, навык обо всём спрашивать. Для меня - радость, коли новенькое что услышу.

Нос дощаника сильно ткнулся о льдину, по борту злобно шаркнуло. Кукушкин, покачнувшись, схватил багор. Панков с упрёком говорит:

- А ты гляди на дело, Степан!

- А ты меня не разговаривай! - отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. Не могу я за один раз и должность мою исполнять и беседу вести с тобой...

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне:

- Земля здесь хуже, чем у нас, на Украине, а люди - лучше. Очень способный народ!

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает - почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И - трудно ответить. Чорт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом, - на Волге так хорошо, свободно, светло.

Дощаник плывёт под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный бе-

рег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплёскивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах чёрной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнёзда. На припёке трогательно пробивается из земли к солнцу яркозелёная щетинка травы. Телу - холодно, а в душе - тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле.

К полудню доплыли до Красновидова; на высокой, круто срезанной горе стоит голубоглазая церковь, от неё, гуськом, тянутся по краю горы хорошие, крепкие избы, блестя жёлтым тёсом крыш и парчовыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

- Однако - сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

- А грудь - не болит?

- Нимало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса, - мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

- Силёнка - имеется, можно сказать - свыше должности, - болтал Кукушкин. - Какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водохлёбами дразнят вас. А ещё - "Чаи, примечай, отколе чайки летят" - это тоже про вас сложено.

С горы, по съезду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьёв, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный, сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково:

- С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал:

- Упрись ногами в концы жердей, чтоб не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай.

Он был картинно красив и, видимо, очень силён. На румяном лице его, с прямым, большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

- Простудишься, Изот, - сказал Ромась.

- Я-то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег. Изот, смерив меня глазами, спросил:

- Приказчик?

- Поборись с ним, - предложил Кукушкин.

- А тебе опять рожу испортили?

- Что с ними сделаешь?

- С кем это?

- А - которые бьют...

- Эх ты! - сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю: - Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал, - плывут. Хорошо плыли. Ты - иди, Антоныч, я послежу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже - покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены её ещё не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда. Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

- Ваша комната на чердаке, - сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нём крыши бань, среди кустов. За оврагом - сады и чёрные поля; мягкими увалами

они уходили к синему гребню леса, не горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в чёрном, и, оборотясь к воротам, сказала крепко:

- Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от неё, а она, подняв с земли щепку, плюнула на неё и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как-то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но - замолчал, увидя меня.

- Что ж ты? - хмуро спросил Ромась. - Говори.

- Да уж и нечего, всё сказал. Значит - так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то - с палкой потолще. При Баринове - не всё говорить можно, у него да у Кукушкина - языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?

- Нет.

Ромась заговорил о необходимости организо-

вать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал:

- Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

- Увидим.

- Да уж - так!

Я смотрел на Изота и думал:

"Наверное, - вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский..."

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьёзному и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

- Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо - скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушёл, Ромась сказал задумчиво:

- Умный человек, честный. Жаль - малограмотен, едва читает. Но упрямо учится. Вот - помогите ему в этом!

Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

- Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно - это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а - по другим причинам. Это - затея вроде вашей

булочной...

Я сказал, что догадываюсь об этом.

- Ну, да... Надо же учить людей уму-разуму, - так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампою в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлёпая по грязи, иногда тяжко влезая на ступени крыльца.

- Вот - слышите? - ходит! Это - Мигун, бобыль, злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним да и - вообще...

Потом, в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

- Вы человек способный, по природе - упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да - так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: "Всякое научение - от человека исходит". Люди учат больнее, - грубо они учат, наука их крепче въедается.

Говорил он знакомое мне, о том, что прежде

всего надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

- Там у вас студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это - слова, любовь к народу...

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно:

- Любить - значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А - разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

- Нет.

- Вот видите! У вас там все Некрасова читают и поют, ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужику надо внушать: "Ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живёшь плохо и ничего не умеешь делать, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось всё, - дворянство, духовенство, учёные, цари - все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну учись жить, чтоб тебя не

мордовали..."

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги, - почти все научного характера: Бокль, Ляйель, Гартполь Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, "Фрегат "Паллада"" Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умилённо:

- Хорошие книги! А это - редчайшая: её сожгла цензура. Хотите знать, чтО есть государство, - читайте эту!

0н подал мне книгу Гоббса "Левиафан".

- Эта - тоже о государстве, но легче, веселее!

Весёлая книга оказалась "Государем" Маккиавели.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев, познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих, его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом - сослали в Якутскую область на десять лет.

- Вначале - жил там с якутами, в улусе, думал - пропаду. Зима там, чорт побери, такая, знаете,

что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу: то - здесь, то - тут торчит русский, натыкано их не густо, а всё-таки - есть! И, чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, - он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом - разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьёзный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал, это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи, беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьёзно хорошо с человеком. После попытки самоубийства моё отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, - выпрямил меня. Незабвенный день.

В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрёпанный человек, с длинными руками

обезьяны и рассеянным взглядом красивых, бабьих глаз.

- Что слышно в городе? - спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину:

- Степан! Твои кошки опять петуха сожрали!

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

- Умный! Понимает своё дело...

- Ты сам выдумал всё это, - спокойно заметил Ромась.

- Я? Когда?

- Не знаю...

- До чего ты мало веришь людям, Антоныч, - сказал Баринов с упрёком, сожалительно качая головою. - А я - жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошёл маленький, сухощавый человек, в рваной поддёвке с чужого плеча; серое лицо его искажала судорога, раздёргивая тёмные губы в болезненную улыбку; острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами.

- Почёт Мигуну! - насмешливо сказал Баринов.

- Чего ночью украл?

- Твои деньги - звучным тенором ответил Мигун, сняв шапку пред Ромасём.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил Мигуна сердитым взглядом:

- Если ты, старый чорт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя - колом по ногам!

- Начинается обыкновенный разговор, - спокойно заметил Мигун и, вздыхая, добавил: - Как жить, коли - не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

- Какой же старый я? Сорок шесть годов...

- А на святках тебе пятьдесят три было, - вскричал Баринов. - Сам говорил - пятьдесят три! Зачем врёшь?

Пришёл солидный, бородатый старик Суслов* и рыбак Изот, так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

----------* Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их. (Прим.

автора.)

День был холодный, пёстрый, по синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе: кто больнее дерётся - купец или барин? Кукушкин доказывал - купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрёпанную речь Кукушкина.

- Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведёт ручки свои да и треснет лбами - готово! Оба лежат недвижимы.

- Эдак - ляжешь! - согласился Кукушкин, но добавил: - Ну, зато купец ест больше барина...

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступе-

ни крыльца, жаловался:

- Не крепок становится мужик на земле, Михайло Антонов. При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплён...

- А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели, - ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца.

Я ждал: когда же он заговорит? И, внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить - что именно скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густосерую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили всё медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождём, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие

слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла: когда же он говорит с мужиками?

- О чём?

- Ага, - сказал он, внимательно выслушав меня, - ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да ещё на улице, - меня бы снова отправили к якутам...

Он натискал табака в трубку, раскурил её, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик - человек осторожный, недоверчивый. Он - сам себя боится, соседа боится, а особенно - всякого чужого. Ещё не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля - трудно понять. Рассуждая просто - воля, это значит: живу как хочу. Но - везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова: а что ж такое воля? Вдруг придёт день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков, - может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик - царист, он понимает: много господ - плохо,

один - лучше. Он ждёт, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда - хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый - боится, каждый живёт настороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей делёжки. И - сам себя боится: хочет много, и есть что взять, а - как возьмёшь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде - неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику да и царю. Но - и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стёкла окон обильным вешним дождём. Серая мгла изливалась по улице; в душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный, негромкий голос раздумчиво говорил:

- Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды - и станового, и губернатора, и царя...

- Это - на сто лет!

- А вы думали всё сделать к троицыну дню? - серьёзно спросил Хохол.

Вечером он ушёл куда-то, а часов в одиннадцать я услышал на улице выстрел, - он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я

увидал, что Михаил Антонович идёт к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, чёрный.

- Вы - что? Это я выпалил...

- В кого?

- А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю: "Отстаньте, стрелять буду", - не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо, - ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

- А сапоги чортовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином...

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчёсывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня:

- Вы ходите по селу осторожней, особенно - в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы - боитесь. А бояться - не надо! Они сами народ трусоватый...

Я начал жить очень хорошо, каждый день при-

носил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

- Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человечий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнёсся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

- Хорошо объясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть...

И - вдруг предложил:

- Ты будто сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и, упёршись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

- А - ну? Уть!

Изот поднял меня, и это, кажется, ещё более расположило его в мою пользу.

- Ничего, ты - здоров! - утешил он меня. - Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью на Волге - царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и - очень

хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмёт с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумлённо говоря:

- Читаю ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

Словно как мать над сыновней могилой,

Стонет кулик над равниной унылой...

- Видал?

Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:

- Объясни ты мне, брат, как же это выходит всё-таки? Глядит человек на эти чёрточки, а они складываются в слова, и я знаю их - слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны, - как это?

Что я мог ответить ему? И моё "не знаю" огорчало человека.

- Колдовство! - говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет.

Была в нём приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он всё более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он

был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звёзды и спрашивал:

- Хохол говорит - и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить - как живут? Поди-ка лучше нас, веселее...

В сущности, он был доволен своей жизнью, он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своём тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

- Ты не гляди, что они ласковы, это - хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою - так, а завтра - иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело - каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о "мироедах":

- Они - почему богаче других? Потому что - умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно сила! А они расщепляют деревню, как полено на лучину, ведь вот что! Сами себе враги. Это - злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними...

Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

- Конечно, в этом я избалован, - добродушно каялся он. - Для мужьёв обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть, баба - она вроде как вторая твоя душа. Живёт она - без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом - грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею...

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

- Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил, - на дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья - лён. И глазёнки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и всё, бывало, гляжу на неё. "Ты что?" - спрашивает. "Сами знаете", - говорю. "Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди!" И - верно! Пришла. Только - комаров она стеснялась, закусали её комары, ну, и не вышло у нас ничего. "Не могу, говорит, кусают очень", а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, - с грустью и упрёком кончил

он. Комары им жить мешают...

Изот очень хвалил Кукушкина:

- Вот, приглядись к мужику, - хорошей души этот! Не любят его, ну напрасно! Болтун, конечно, так ведь - у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было - сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

- Михайло Антонов - слыхал ты? Тиньковский урядник в монахи идёт, от своей должности, - не желаю, бает, мужиков мордовать, - шабаш!

Хохол серьёзно говорил:

- Вот так всё начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечёсанных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:

- Все - не убегут, а которые совесть имеют - им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А ведь без совести и при большом уме не проживёшь! Вот, послушай случай...

И рассказывает о какой-то "умнейшей" помещице:

- Такая злодейка была, что даже губернатор, не взирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. "Сударыня, говорит, будьте осторожнее на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли!" Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: "Поезжайте с богом, не могу я переломить характер мой!" Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков: "Вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я..."

- В монастырь, - подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

- Верно, в игуменьи! Значит - и ты слыхал про неё?

- Никогда не слыхал.

- А - откуда же знаешь?

- Я - тебя знаю.

Фантазёр бормочет, покачивая головой:

- До чего ты не верующий людям...

И так - всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и "пропадают без вести", но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на "свалку".

У него являются неожиданные и странные мысли, - он вдруг нахмурится и заявляет:

- Напрасно мы татар победили, - татары лучше нас!

А о татарах никто не говорил, говорили в это время об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

- Если селёдку года два, три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

- Пустобрёх, - зовут его солидные люди, и только щёголь Панков говорит серьёзно:

- Степан - человек с загадкой...

Кукушкин очень способный работник, он бондарь, печник, знает пчёл, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и всё ему удаётся, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят, он кормит их воронами, галками и, приучив кошек

есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьём Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорчённых хозяек, но это не смущает его.

- Дуры, кошка - охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведём сотни кошек - продавать будем, доход вам, дурёхи!

Он знал грамоту, но - забыл, а вспомнить - не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

- Так, так, - говорит он, жмурясь, как ребёнок, глотающий горькое лекарство, - значит - Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был...

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция.

- Вот это - настоящий поворот жизни, - одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял - "по любви" - замуж сироту, племянницу Изота, держит её строго,

но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточённо плюёт на неё. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это, он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними - грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

- Знай я ремесло - жил бы в городе...

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив; ум его осторожен, недоверчив.

- Ты от сердца али по расчету за такое дело взялся? -спрашивает он Ромася.

- А - как думаешь?

- Нет - ты скажи.

- По-твоему - как лучше?

- Не знаю! А - по-твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

- Лучше - от ума, конечно! Ум без пользы не живёт, а где польза - там дело прочное. Сердце - плохой советчик нам. По сердцу, я бы такого наделал - беда! Попа обязательно поджёг бы, - не суйся куда не надо!

Поп, злой старичок, с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя, я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен.

Очень памятны мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит:

- Суть жизни в том, чтобы человек всё дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдалённому, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

- Значит, - все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки меч-

тателя.

Кончится беседа, - я иду к себе, на чердак, и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звёзд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина.

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встаёт предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но - я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет весёлых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне

простой, она требует напряжённого внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта бедная разумом жизнь, заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех "наших", людей, которые хотят жить разумно.

Я отчётливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда, в такие ночи, мне вспоминаются двое горожан:

"Ф. Калугин и З. Небей

Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее".

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на жёлтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щёткой усов.

У другого окна - З. Небей, курчавый, чёрный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

- Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колёса, аристоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но моё длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками - гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

"Какое счастье уметь всё делать!"

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить всё на свете. Это - люди!

А деревня не нравится мне, мужики - непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то "подкатывает к сердцу", "спирает в грудях" и постоянно "резь в животе", - об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все

они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалом над головами. Это называется "пустить девку цветком". По пояс обнажённые снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра, заметно, что они развязывают юбки свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной парни щиплют девицам ягодицы, кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с амвона говорил:

- Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

- На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, - рассказывает Ромась, - а здесь, под верою в бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к богу, восхищения красотою и силой его - у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же - вреднейший предрассудок, скажу вам!

Парни хвастливы, но - трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался, в чём дело.

- Эге, всё-таки - получили подарок? Я ж говорил вам!

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но всё же иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там под вётлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз, за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отражёнными мёртвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то зловещее, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет и не может быть жизни на ней. До этого я представлял её населённой медными людьми, они сложены из треугольников, двигаются, как циркули, и уничтожающе, великопостно звонят. На ней всё - медное; растения, животные - всё непрерывно, приглушённо звенит враждебно земле, замышляет злое против неё. Мне было приятно узнать, что

она - пустое место в небесах, но всё-таки хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землёй собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчовую полосу света и, зарождённое где-то далеко во тьме, исчезает в чёрной тени горного берега, - я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острей. Легко думается о чём-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днём. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По тёмной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течёт вслед за ним, как трепет тяжёлых крыльев. Под луговым берегом плавает огонёк, от него, по воде, простирается острый красный луч - это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звёзд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткёт картины бесподобной красоты, и точно плывёшь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот, ночью он кажется ещё крупнее, ещё более приятен.

- Ты опять тут? - спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шёлк золотистой бороды.

Потом - мечтает:

- Выучусь, начитаюсь - пойду вдоль всех рек и буду всё понимать! Буду учить людей! Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком! Даже бабы некоторые - если с ними говорить по душе - и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает: "Что с нами будет, когда помрём? Не верю, говорит, ни в ад, ни в тот свет". Видал? Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и наконец добавил:

- Живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребёнка. В бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что "не поспевает он, больно много человека разродилось. Ну - ничего, он - поспеет, увидишь! А вот Христа я не могу понять - никак! Ни к чему он для меня. Есть бог,

ну и - ладно. А тут - ещё один! Сын, говорят. Мало ли что - сын? Чай бог-то не помер..."

Но чаще Изот сидит молча, думая о чём-то, и лишь порою говорит, вздохнув:

- Да, вот оно как...

- Что?

- Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали.

- Хорошо это - жизнь!

Я соглашаюсь:

- Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса тёмной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути, сверкают золотыми жаворонками большие звёзды, и сердце тихо поёт свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца, и вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

- Удивительно это - солнце! - бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дёгтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в

поле. В лунные ночи, при лёгком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжёлые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днём задорно дразнились скворцы и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в тёмные ямы, лицо стало ещё строже, красивей и - святей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущённо ухмыляясь, говорил:

- Молчи, знай. Что поделаешь?

И восхищался:

- Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное - до смерти не забудешь, воскреснешь - первым вспомнишь!

- Смотри - побьют тебя мужья, - предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

- И - есть за что, - соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соло-

вьёв, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось всё больше народа и неизбежно - старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так - почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орёт натужно, хрипло:

- Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай - почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай - кто ты таков есть?

Его дразнят:

- Мишка, - ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг, - катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

- Караул! Убили...

Потом вылезает, весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

- За что?

- За потеху, - отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке, - в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стёкла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери её в комнату лезли чёрные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало, - Хохол схватил меня за плечо:

- Стойте...

В сенях завыла кухарка.

- Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

- Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в чёрном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

- Осторожней! - сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув её в комнату, скомандовал:

- Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может, ещё взорвёт... - И, присев на корточки, он стал

рассматривать круглые, еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

- Что вы делаете?

- А - вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

- Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачьё! Ну, - что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

- Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы её...

Кисловатый дым разошёлся, стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стёкла, а в устье печи - вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне, - он вёл себя так, как будто глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели голоса:

- У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья:

- В лавку ломятся, Михайло Антоныч!

- Ну, ну, тихо! - говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытые окна комнаты смотрели искажённые страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбуждённо, визгливо кричал:

- Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и - не мог; в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

- Куда ты?

- Тушить, батюшка...

- Так нигде же не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей:

- Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает:

- Как он размахнётся на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

- Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

- Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй - пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

- Где староста?

- Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чём-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда, и, сочувственно поглядывая на Ромася, говорила:

- Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают.

- Не сердит вас это? - спросил я.

- Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: "Если б все люди так спокойно делали своё дело!"

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти.

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует как в часах - некий механизм, заведённый сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб

однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Суслова:

- Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Жёлтые щёки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

- Ведь - нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

- Верно - нет пользы!

И потом говорил Изоту:

- Это - душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

...Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришёл Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

- Не испугались?
- Ну, чего же?
- Война!
- Садись чай пить.
- Жена ждёт.
- Где был?
- На рыбалке. С Изотом.

Он ушёл и в кухне ещё раз задумчиво повторил:

- Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всём важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасём, Изот сказал:

- Скушный царь!

- Мясник, - добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил:

- Ума особого не видно в нём. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да ещё чужих навёз, иноземцев. В этом - нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха - не волк, из ружья не убьёшь, а надоедает она хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведённой глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

- Удумали, черти! Вошь свою перевести - не могут, а человека извести пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше - поменьше да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, жди беды!

"Эта штука", очень неприятная богатеям села, - артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил её при помощи Панкова, Суслова и ещё двух-трёх разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей, и даже "никчемные" мужики - Баринов, Мигун - всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравился Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дёргалось судорогами. Жил он тёмными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовёт меня тихонько:

- Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещённую снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые, тёмные ноги в тёмную воду, он говорит вполголоса:

- Измывается надо мной барин, - ну, ладно, могу

терпеть, пёс его возьми, он - лицо, он знает неизвестное мне. А - когда свой брат, мужик, теснит меня - как я могу принять это? Где между нами разница? Он - рублями считает, я - копейками, только и всего!

Лицо Мигуна болезненно дёргается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:

- Считаюсь я вором, верно - грешен! Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас - не любит, а чорт - балует!

Чёрная река ползёт мимо нас, чёрные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

- Жить-то надо? - вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

"А зачем надо жить таким и так, как ты?"

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой тёплой тьме.

- Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, - бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню:

Меня-а мамонька любила-а, Говорила:

- Эх-ма, Яша, эх ты, милая душа, Живи тихо-о...

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бечёвку снасти, шевелятся медленнее.

Не послушал я родимой,

Эх, - не послушал...

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжёлым движением тёмной, жидкой массы, опрокидывается в неё, а я - съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

"Зачем живут такие люди?"

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплёвываясь:

- Адов город! Бестолочь. Церквей - четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ - сплошь жулик! И все - в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане - все, как есть, ходят и чешутся. Действительно, царь-пушка есть там,

струмент громадный! Пётр Великий сам её отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и - бунт! Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту - девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже - сам испугался: "Нет, - говорит Филарет-митрополиту, - надо её, сволочь, заклепать от соблазну!" Заклепали...

Я говорю ему, что всё это ерунда, он - сердится:

- Гос-споди боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно учёный человек сказывал, а ты...

Ходил он в Киев "ко святым" и рассказывал:

- Город этот - вроде нашего села, тоже на горе стоит, и - река, забыл однако какая. Против Волги - лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы - кривые и в гору лезут. Народ - хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а - полупольской, полутатарской. Балакает, - не говорит. Нечёсанный народ, грязный. Лягушек ест, - лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них - замечательные, самый маленький - вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов

там - пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я - сам всё видел, своими глазами, а ты - был там? Не был. Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлечённо умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них поражённо, вытаращив детские глаза, восклицая:

- Такую штуку никто и выговорить не может!

Он - человек нескладный, растрёпанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, весёлой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нём и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и - бредит:

- Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним - мошка! Глядишь ты на него, и - нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего - работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах - ну, чего бы ещё надо?

Однако - не стерпела: "Очень ты мне, прокурор, любезен, а всё-таки - прощай!" Потому - кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе - никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну - не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

- Ловко врёт! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, - однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

- Баринов доказывает, что про Грозного не всё в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, - с его времени орлов на деньгах и чеканят - в честь ему.

Я замечал - который раз? - что всё необычное, фантастическое, явно, а иногда я плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьёзные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:

- Это пройдёт! Лишь бы люди научились ду-

мать, а до правды они додумаются. И чудаков этих - Баринова, Кукушкина - вам надо понять. Это, знаете, - художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А - согласитесь, что ведь он кое-что неплохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о боге, только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

- Всё - от бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадёжное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасём, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах её, корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего мёда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

- Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую "по-городскому". Она

тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот её удивлённо открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущённо смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

- Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на чёрной - или посеребрённой луною - реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонёк фонаря, привлекая внимание капитана парохода, - смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.

Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашёл в её взгляде того, что смущало меня, - глаза её показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой, бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и

немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А её тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки её были странно беспокойны как будто искали, за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть её.

В средине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трёх барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришёл Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

- Когда Хохол воротится?

- Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое своё

лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

- Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

- Ездил я с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено - понял? Значит - убит Изотушка! Не иначе...

Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать и - не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушёл, встряхивая головою.

На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина - в воде, а под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, - вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили

сзади, затылок его был точно стёсан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков-богачей, бедняки ещё не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя - по очереди - на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились и рябое лицо показалось жалким.

- Ой, озорство! - причитал староста, семеня кривыми ногами. - Ох, мужики, нехорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы её шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая жёлтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

- Занозистый был мужик.

- Чем это?

- Это вон Кукушкин занозист...

- Зря извели человека...

- Изот - смирно жил...

- Смирно-о? - завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. - Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

- На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

- Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

- Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи, она сбилась тесной кучей, из неё вырывался тонкий голос старосты:

- Нет, ты докажи - кому я мирволю? Ты - докажи!

- Уходить надо отсюда мне, - ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось

в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

"В каждом человеке детское есть, - на него и надо упирать, на детское это! Возьми Хохла: он будто железный, а душа в нём - детская!"

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

- Всех нас вот эдак... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу.

- Мало спите, Максимыч!

- Изота убили.

- Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.

- Так. Неизвестно - кто? Ну, да...

Медленно прошёл к окну и сел там, вытянув ноги.

- Я же говорил ему... Начальство было?

- Вчера. Становой.

- Ну, что же? - спросил он и сам себе ответил:

- Конечно - ничего!

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощёчину лавочнику.

- Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушёл в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

- Жалко этот народ, - лучших своих убивает он! Можно думать - боится их. "Не ко двору" они ему, как здесь говорят. Когда шёл я этапом в Сибирь эту, - каторжанин один рассказал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: "Бросимте, братцы, воровство, всё равно - толку нет, живём плохо!" И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: "Троих, говорит, прикончил я после того - не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ, умный, весёлый, чистая душа". - "Что же вы убили его, спрашиваю, боялись - выдаст?" Даже обиделся: "Нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что! А - так как-то, неладно стало дружить с ним, все мы - грешны, а он будто пра-

ведник. Нехорошо".

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки за спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво:

- Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или - как собаки - смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это - реже. А учиться жить у них, подражать им - не могут, не умеют. Может быть - не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

- Могут и не хотеть! Подумайте, - люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один - бунтует: не так живёте! Не так? Да мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми! И - бац его, учителя, праведника. Не мешай! А всё же таки живая правда с теми, которые говорят: не так живёте! С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

- Особенно - эти! Эх, если б я мог написать кни-

гу! Но - не гожусь на это, - мысли у меня тяжёлые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

- Как жалко Изота...

И долго молчал.

- Ну, давайте ляжем спать...

Я ушёл к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес; казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольётся прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки, и, если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдалённый гром, в окно вливался тяжёлый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота, на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумлённо открытый рот.

"Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я пасху люблю за то, что она самый ласковый праздник!"

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном

солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжёлые шаги на лестнице; согнувшись в двери, вошёл Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

- А я, знаете, женюсь! Да.

- Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что ещё скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая её призрачным светом.

- Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать - Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли её так - Маша.

- Вы что смеётесь?

- Так.

- Думаете - стар я для неё?

- О, нет!

- Она сказала мне, что вы были влюблены в неё.

- Кажется - да.

- А теперь? Прошло?

- Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

- В ваши годы это часто кажется, а в мои - это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чём нельзя больше думать, нет сил!

И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал:

- Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своём корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя, - вот что бывает!

Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли:

- Так вот как - женюсь!

- Скоро?

- Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушёл, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лёг спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром жёлтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощаником товара и другим, гружённым коробами. Было утро, часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

- А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

- Как будто - гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи:

- Горим!

Мы бросились на двор, - горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, дёготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито жёлтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды. Хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал:

- К чорту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья - в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дёгтя и взялся за бочку керосина, но, когда я повернул её, - оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потёк на землю. Пока я искал втулку, огонь - не ждал, сквозь дощатые сени сарая просу-

нулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит чёрная, седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

- А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашёл его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскалённую решётку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

- Бегите прочь! Сейчас взорвёт...

Он бросился в сени, а я за ним и - на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но - глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо

мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, - густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я - растерялся. Ослеплённый дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая, жёлтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и кроме этого, я не слышал иных звуков. Понимал, что - погиб, отяжелели ноги. и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения - я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал:

- Что-о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, чёрную землю пред нею лизали алые, собачьи языки. Окна дышали

чёрным дымом, на крыше росли, качаясь, жёлтые цветы.

- Ну, что? - кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Меня облила освежающая волна радости - такое огромное, мощное чувство! - потом ожгла боль в левой ноге, я лёг и сказал Хохлу:

- Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дёрнул её - меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасённые вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

- Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрёпанной Аксинье:

- Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бу-

маги.

- Эх, - сказал Ромась, - жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскалённый гребень чесал солому крыш, кривые, огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях, в дымном воздухе разносилось злорадно ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые "галки", бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своём, и непрерывно звучал воющий крик:

- Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь "порядок", всю улицу. Но работали всё-таки боязливо и как-то безнадёжно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно, чувствовал себя силь-

ным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе, они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы ещё одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

- Не трусь! - кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил её на мою голову:

- Рубите с того конца, а я - здесь!

Я подрубил один, два кола, - стена закачалась, тогда я влез на неё, ухватился за верх, а Хохол потянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

- Обожглись? - спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, и я неистовствовал, лишь

бы заслужить его похвалу. А в туче дыма всё ещё летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся всё шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услыхал чьё-то злое восклицание:

- Поджог!

А лавочник сказал:

- В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное - особенно, увеличивает силы; я был возбуждён, работал самозабвенно и наконец "выбился из сил". Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

- Силёнка у ребёнка!

- Этот - не выдаст...

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

- Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня в овраг, утешая:

- Ничего, брат! Кончилось.

- Испугался?

Я не успел ещё отлежаться и придти в себя, когда увидал, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять "богачей", впереди их - староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он - без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орёт:

- В огонь, еретицкую душу!

- Отпирай баню...

- Ломайте замок - ключ потерян, - громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

- Православные, - ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

- Вот этот ещё... Кто таков?

- Спокойно, Максимыч, - говорил Ромась. - Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджёг лавку.

- Оба вы!

- Ломай!

- Православные...

- Отвечаем!

- Наш ответ...

Ромась шепнул:

- Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили...

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

- Ничего нет...

- Ничего?

- Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

- Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

- Чего - напрасно?

- В огонь!

- Смутьяны...

- Артели затевают!

- Воры! И компания у них - воры!

- Цыц! - громко крикнул Ромась. - Ну, - видели вы, что в бане у меня товар не спрятан, - чего ещё надо вам? Всё сгорело, осталось - вот: видите?

Какая польза была мне поджигать своё добро?

- Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

- Чего глядеть на них?

- Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

- Ага-а, колья взяли.

- С кольями?!

- Оторвут они бороду мне, - говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается. - И вам попадёт, Максимыч, - эх! Но - спокойно - спокойно...

- Глядите, у молодого топор!

У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор, я забыл о нём.

- Как будто - трусят, - соображал Ромась. - Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонка, смешно приплясывая, неистово визжал:

- Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом,

свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов, кузнец, ещё человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

- Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

- Идёмте, Максимыч, на берег, в трактир, - сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движеньем сунул её в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

- Пошёл прочь, дурак!

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине её стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали докрасна раскалённые прутья койки, точно ноги паука. Обугленные вереи ворот стояли у костра чёрными сторожами, одна верея в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

- Сгорели книги, - сказал Хохол, вздохнув. - Это досадно!

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом.

Человек, лет пяти от роду, беловолосый, голубоглазый, сидя в тёплой, чёрной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

- А с яблоками мироеды проиграли дело, - сказал Ромась.

Пришёл Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

- Что, брат? - спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

- У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу щупающими глазами.

- Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

- Подумаю.

- Уехать надо тебе отсюда.

- Посмотрю.

- У меня план есть, - сказал Панков, - пойдём на

волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

- А - не робок ты! Тебе здесь - можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лёг под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною всё пережитое в этом селе - как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

- Эй, - слышал я сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. - Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая, точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

- Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!

Идя сзади меня, он ворчал:

- Тебе нельзя спать где попало! Пройдёт по горе человек, оступится спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас - не шутят. Народ, братец ты мой, зло помнит. Окроме зла, ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился,

- шевелились ветви.

- Нашёл? - спросил звучный голос Мигуна.

- Веду, - ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

- Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну - не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упрёком:

- Вы что же гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо:

- Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А вот что, я продал ему всё, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идёт?

- Подумаю.

- Думайте.

Он лёг на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжко шлёпал плицами колёс буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звёзд и порою закрывая их.

- Сердитесь на мужиков? - сонно спросил Ромась. - Не надо. Они только глупы. Злоба - это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое

ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

"Кирпичами издаля!"

В это время я ещё не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет её. Это, в сущности, добрые звери, - любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребёнка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого всё, что возбуждает мечту о возможности лёгкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то всё своё хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия, в них начинает играть собачья угодливость пред сильными, и тогда на них противно смотреть. Или - неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться - и дерутся - из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда ещё вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, - никем не

любимые, они живут на смех селу, без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

- Преждевременный вывод, - заметил он с упрёком.

- Но - что же делать, если он сложился?

- Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь.

- Не торопитесь осуждать! Осудить - всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на всё спокойно, памятуя об одном: всё проходит, всё изменяется к лучшему. Медленно? Зато - прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но - не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце, после того, как Ромась отбыл по делу "народоправцев" ещё одну десятигодовую ссылку в Якутской области.

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова, я заметался по селу, точно кутёнок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, мо-

лотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

- Лексей Максимыч, воевода без народа, - как же, а? - спросил он меня дождливой ночью. - Едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Ещё - того, как-нибудь, под пьяную руку...

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже почему-то затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол её подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немощно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

- Едем, а? Завтра?

Поехали.

...Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи, у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головою, - водит, топая по палубе тяжёлыми ногами, и густо вздыхает:

- 0-уп!.. 0-ррo-у...

За кормой шёлково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекою клубятся чёрные тучи осени. Всё вокруг - только медленное

движение тьмы, она стёрла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всею массой текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звёзд.

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька - два над водою и один высоко над ними - провожают его; ближе ко мне под тучами плывут, точно золотые караси, ещё четыре, один из них - огонь фонаря на мачте нашей баржи.

Я чувствую себя заключённым внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я влеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится, - пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

- Орр-оп! 0-урр...

Я спросил его:

- Как тебя звать?

- А зачем тебе знать? - глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил её в два приёма, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дёрнул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго:

- Благослови осподь!

Пароход ведёт из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, гружённые штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжёлыми ящиками, всё это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

- Не иначе - ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

- Тебе какое дело?

- В мыслях моих...

- А - в морду - хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу "из милости", и, хотя

мы "держим вахту", как матросы, все на барже смотрят на нас, точно на нищих.

- А ты говоришь - народ, - упрекает меня Баринов. - Тут - просто: кто на ком сел верхом...

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещённые огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом "вахтить" на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней, на поворотах, он тихо говорит мне:

- Эй, берись!

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

- Ладно, - ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком - не удаётся, он отвечает вопросами:

- А тебе что за дело?

О чём он думает? Когда проходили место, где жёлтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

- Сволочь.

- Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, ещё не раздавленных тьмою. Это кажется

недосягаемо далёким и ненужным.

- Собаки тут плохие, - неожиданно говорит человек у руля.

- Где - тут?

- Везде. У нас собака - настоящий зверь...

- Ты - откуда?

- Вологодской.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатились серые, тяжёлые слова:

- Это - кто с тобой - дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир. На берегу.

Выговорив всё это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползёт в сетях тьмы золотым пауком.

- Берись, ну... Грамотный? Не знаешь - кто законы пишет?

Не дождавшись ответа, он продолжает:

- Разно говорят: одни - царь, другие - митрополит Сенат. Кабы я наверно знал - кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то что ударить! Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце, и шабаш! Тогда я - отвечаю! А так - не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, всё более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по чёрной воде жёлтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течёт, так вязки и густы тёмные, сочные облака. Мы всё глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

- К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах жёлтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, тёмные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржой пролетела чайка, свистнув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре - так показалось мне - меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидал, что трое матросов,

прижав рулевого к стенке "конторки", разноголосно кричат:

- Брось, Петруха!

- Господь с тобой, - ничего!

- А ты - полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

- Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, тёмная куча нечёсанных волос торчала на его голове, они спускались на упрямый, выпуклый лоб, под ним видно было маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

- Утонешь! - говорили ему.

- Я? Никак. Пустите, братцы! Не пустите - убью его! Как приплывём в Симбирской, так и...

- Да перестань!

- Эх, братцы...

Он медленно, широко развёл руки, опустился на колени и, касаясь руками "конторки", точно распятый, повторил:

- Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоком, было что-то

потрясающее, раскинутые руки, длинные, как вёсла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые, слепые глаза тёмными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

- Вот - спасибо!

Подошёл к борту и с неожиданной лёгкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидал, как Петруха, болтая головою, надел на неё шапкой - свой узел и поплыл, наискось течения, к песчаному берегу, где, встречу ему, нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду жёлтые листья.

Мужики говорили:

- Одолел себя всё-таки!

Я спросил:

- Он - сошёл с ума?

- Зачем? Нет, это он - души спасенья ради...

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом.

Матросы закричали:

- Проща-ай!

Кто-то спросил:

- А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

- У него, в Симбирске, дядя живёт, злодей ему и разоритель, вот он и затеял убить дядю, да однако пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь мужик, а - добрый! Он - хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки, и - вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что чорт дёрнул Баринова за язык и этот фантазёр что-то рассказал матросам.

- Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущённо почёсывая за ухом, он сознался:

- Рассказал немножко!

- Да - я ж тебя просил молчать?

- Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захватил карты, - скушно! Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов,

скуки ради, сплёл весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него, - он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убеждённо и ласково внушал мне:

- Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасётся, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек - правда, а добрый - где? Доброго-то ещё не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

- Вы нам люди неподходящие, - сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

- Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

- Как - что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали "зайцами" на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь

дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.